

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»

ПРЕПРИНТ

ОКОНЧАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ  
В ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Руководитель исследования - Жарков В.П.

[zharkov-vp@ranepa.ru](mailto:zharkov-vp@ranepa.ru)

Жарков В.П., Малахов, В.С., Летняков Д.Э. Окончание холодной войны в экспертно-аналитическом дискурсе. // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – М.: РАНХиГС, 2017.

Данная работа посвящена экспертно-аналитическому дискурсу проблемы окончания холодной войны. В центре внимания работы – российские и зарубежные экспертные оценки результатов холодной войны для мировой политики. Противоречия и конфликты этого исторического периода, а также пути их разрешения рассматриваются в контексте классических подходов, релевантных для современных теорий международных отношений, представленных в мировой академической практике. Ключевые вопросы, рассматриваемые в исследовании, связаны с проблемой отношений Россия – Запад.

Zharkov, V.P., Malakhov, V.S., Letnyakov, D.E. The End of the Cold War in Expert-Analytical Discourse. // The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. – М., RANEPА, 2017.

This paper is devoted to the political and theoretical aspects of Russian-Western relations. The research was focused on expertize of results of the Cold War for the World politics. Contradictions and conflicts of this period, as well as ways to resolve them were considered in the context of the classical approaches that are relevant to the modern theories of international relations, represented in the World academic practice. Key issues related to the general issue of Russian-Western relations in last 30 years.

## СОДЕРЖАНИЕ

Мир после холодной войны: Россия и Запад в геополитическом тупике.....	4
1. В плену у геополитики.....	5
2. Новая старая «линия разлома» .....	8
3. Итоги постсоветского периода .....	13
4. Россия на международной арене: опыт столетия .....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	31

## **Мир после холодной войны: Россия и Запад в геополитическом тупике**

Настоящая работа посвящена анализу описаний, оценок и прогнозов международных отношений в условном треугольнике Россия -- США -- Европа. Вместе с тем, учитывая продолжающееся существование политического, военного, экономического и культурного евроатлантического альянса, эти отношения чаще представляются как двусторонние: Россия -- Запад. Едва ли не ключевой метафорой в их описании становится «новая холодная война», применимая, впрочем, сегодня к чему угодно в международном контексте, вплоть до интернациональных дискуссий об однополых браках.

Существует ли более детальная модель описания текущих отношений Москвы с ее, выражаясь языком президента Владимира Путина, «западными партнерами»? При всем скепсисе касательно концепта «геополитика» нельзя не признать его доминирующего значения в объяснении международной политики, особенно в оптике США и России -- двух могущественных сторон, которые сами себе все больше видятся как извечно противоборствующие. Геополитика в этом плане представляется не просто академической рамкой, но неким особым оружием, позволяющим каждой из сторон держать в поле зрения «потенциального противника» и находить нужные ответы. Насколько адекватные? В данном тексте не ставится задача окончательно разобраться с этим вопросом, но предполагается сделать лишь самый общий обзор той «большой картины», которая сформировалась на протяжении четверти века после распада СССР и безуспешных попыток выстраивания новой конфигурации на месте, казалось бы, давно преодоленного конфликта Восток -- Запад.

## 1. В плену у геополитики

Сами поборники геополитических конструкций в современной литературе обычно делают оговорку, согласно которой «география не есть синоним фатализма» [1; с. 50-51], и потому она может быть рассмотрена лишь в качестве известного ограничителя и/или «подстрекателя» действий государства наряду с такими факторами, как международное распределение экономической и военной мощи. Это вполне благое пожелание, однако, моментально забывается, как только взгляд стратега, помнящего о героическом прошлом, обращается к географической карте.

Самый быстрый ответ на вопрос, почему именно Америка и Россия так сильно привержены геополитической оптике, легко обнаруживается, собственно, в их географии и истории. Две «империи поперек континентов», в XVIII и XIX столетиях достигшие самых крайних точек Запада и Востока по обе стороны Тихого океана, русские и американцы были уверены в «исторической справедливости» своей власти над обширными территориями [2; p.251]. Впрочем, несмотря на это, не только стратегии освоения бескрайних земель, но и само восприятие своей географии в исторической ретроспективе у обеих сторон отличается, причем порой диаметрально. Если Америка, будучи укрытой за Атлантическим океаном от наиболее сильных и опасных европейских держав, могла чувствовать себя «новым Сионом» на неизведанной ранее и оторванной от старого мира земле, то Россия с ее бескрайними, «почти на полглобуса», и по большей части равнинными владениями на севере Евразии на протяжении столетий оставалась «огромной и неустойчивой сухопутной державой», вечно становясь, в силу отсутствия естественных преград, жертвой многочисленных военных вторжений [1; с. 51].

География, и главным образом ее сухопутный характер, по мнению Доминика Ливена, есть одна из тех причин, по которым Россия «стоит особняком в истории империй» [3; с. 331]. И здесь уже наблюдается «полный контраст» не только с американской, но и западноевропейской географией. Особое географическое положение продолжает сказываться и в постимперскую эпоху, поскольку из-за отсутствия морской границы Россия и ее бывшие владения вынуждены существовать бок о бок в одном континентальном пространстве. Уходя из своих бывших колоний, Москва не могла предоставить их самим себе, не придавая значения их неизбежным внутренним конфликтам и гражданским войнам, как это сделали англичане, уйдя из

Индии, или французы, покинув Индокитай и Западную Африку. Напротив, отношения между Россией и ее бывшими имперскими окраинами оказываются куда более важным и опасным делом, чем отношения между метрополией и колониями в европейских морских империях.

Геополитический аргумент о неуязвимости бывших европейских империй от постколониальных соседей в силу географической удаленности и защищенности морями, однако, довольно легко торпедируется в условиях современного глобального мира. Как писал Эрик Хобсбаум, «несомненная обитель стабильности», ведущие и сильные государства мира, в первую очередь срединная Европа и скандинавские страны, ошибаются, если готовы помыслить себя защищенными в отношении кровавых столкновений в неблагополучном «третьем мире» и бывших социалистических странах [4; р. 560]. И если два десятилетия назад это представлялось «особенно ясным» на фоне распространения международного негосударственного терроризма, то сегодняшний кризис беженцев в Европе свидетельствует, что даже достаточно богатые страны оказываются неготовыми платить «без ограничений» за собственное положение, отличное от остального мира.

Тем временем классики геополитического подхода продолжали настаивать, что именно «большая протяженность России в Евразии давно способствовала тому, чтобы элита мыслила геополитически» [5; с. 121]. Действительно, почти сразу после распада СССР геополитика стала главной, если не единственной, оптикой российского внешнеполитического курса. Вопреки возможным стереотипам, запрос на нее изначально сформировался в кругах, настроенных вполне либерально и демократически. Менее чем через месяц после заключения беловежских соглашений министр иностранных дел формально все еще РСФСР Андрей Козырев в интервью «Российской газете» говорил следующее: «Отказавшись от мессианства, мы взяли курс на прагматизм. ... Мы быстро пришли к пониманию, что геополитика... заменяет идеологию» [5; с. 121].

Только ли география способствовала подобному выбору, или геополитика попросту заполнила вакуум, образовавшийся на месте рухнувшей доктрины марксизма-ленинизма? Как признают даже авторы, не чуждые геополитики, «то, что происходило в головах русских, в большинстве случаев оказывалось все-таки важнее, чем место, которое они занимали на карте» [3; с. 368]. Между тем, оказавшись в начале 1990-х годов в идеологическом и ценностном провале в плане своей

идентичности и внешнеполитической стратегии, Россия в какой-то степени способна предстать пионером в этом небезобидном процессе, затрагивающим, пусть пока и в меньшей степени, ее западных визави. Не случайно неудачи американской политики на Ближнем Востоке, случившиеся в середине 2000-х, ныне описываются как «месть географии» [1; с. 50], последовавшая за ее «поражением» на фоне американских успехов времен окончания «холодной войны» и первых «гуманитарных интервенций», поддерживаемых абсолютным господством американской военной авиации.

На этом фоне уместен еще один вопрос. В какой мере уникальное положение на Американском континенте, практически полностью исключаящее опасность сухопутных вторжений, помогло Соединенным Штатам чувствовать себя в безопасности от внешнего мира? Как пишет Дэвид Армстронг, с самого основания США вера в универсальное значение американской революции и ее особую миссию задавали известные характеристики внешнеполитического курса будущей сверхдержавы, которые выражались в осознании самодостаточности Америки, порой идеалистическом оптимизме относительно ее возможностей, равно как и в высокомерно-агрессивном восприятии соперников по международной арене и недоверии к тем способам осуществления международной политики, которые сложились в рамках Вестфальской системы абсолютистских монархий в Европе [6; p. 42-43]. Тот факт, что новый «град на холме» скрывался за океаном, вовсе не избавил Америку от чувства внешней угрозы, а временами даже паранойи относительно потенциальных опасностей, способных угрожать уникальной и глобальной по своему значению американской свободе и демократии.

Параллельно глядя на текущую российскую стратегию в отношениях с Западом, новейшие исследования констатируют, что она не есть самостоятельный феномен. Напротив, она отражает и воспроизводит общую ориентацию и тип мышления, присущие внешнеполитическому курсу Москвы [7; p. 199-200]. Несмотря на слова об «адаптации к глубоким изменениям в геополитическом ландшафте» в российской стратегии не наблюдается структурных перемен относительно того, как режим мыслит о мире и представляет свое место в нем. В кремлевском взгляде события и кризисы приходят и уходят, требуя тактической ловкости, а иногда компромиссов, но принципы и стратегическая культура остаются перманентными.

## 2. Новая старая «линия разлома»

«Европа и Америка не представляют никакой угрозы для России», -- эти слова вскоре падения Берлинской стены могли принадлежать не только известному американскому геополитическому стратегу [6; с. 144], но и многим другим аналитикам. Однако они так и остались заклинанием, мало повлиявшим на реальный ход событий. Самое общее философское объяснение сохраняющихся недоверия и вражды может быть дано на основе классики реализма. Продолжая рассуждения Фукидида, Томас Гоббс выводил из эгоистической природы человека три причины непрекращающейся войны: это соперничество, недоверие и любовь к славе [8; с. 181]. Именно в силу этого, оставаясь в естественном состоянии, или в условиях международной анархии, как принято определять эту кондицию в современной литературе [9; р. 107], правители государств, не имея общего закона и единой верховной власти над собой, «находятся в непрерывной зависти и в позе гладиаторов, направляющих оружие один против другого и зорко следящих друг за другом» [8; с. 183]. Еще сильнее это реалистическое объяснение парадоксальным образом сформулировано у Иммануила Канта, которого принято считать одним из родоначальников противоположной, либерально-идеалистической теории международных отношений. «Народы в качестве государств», как свидетельствует Кант, в своем естественном состоянии (то есть, при независимости от внешних законов) «уже своим совместным существованием нарушают право друг друга» [10; с. 234].

Соперничество, «предопределенное самой природой», находит дополнительные основания в историко-географической оптике. Один страх при этом, сопровождаясь наступательными действиями «ради обороны», порождал ответные страхи окружающих. Так, российская экспансия XVIII--XIX веков в сопредельные земли Восточной Европы, как признает Доминик Ливен, была обусловлена опасениями за безопасность политического и экономического центра империи [3; с. 347]. С противоположной стороны это не могло не восприниматься как большая угроза. Но при этом, как справедливо напоминает Сэмюэл Хантингтон, в отличие от Османской империи, также вызывавшей ужас в Европе, Россия была принята «в качестве основного и легитимного участника европейской международной системы» [11; с. 231].



Не стоит забывать и то обстоятельство, что европейское «международное общество» (используя формулировку Хедли Була), в которое Россия вписалась довольно скоро после образования Вестфальской системы, начиная с XVII века выросло из борьбы между силами, стремившимися к установлению гегемонистского порядка. Именно это, в конечном итоге, и привело к складыванию системы суверенных государств, имевшей «антигегемонистский дизайн» [12; р. 182-183]. Наступление России на западном и северо-западном направлениях, присоединение Украины, Балтии и Польши, участие со второй трети XVIII века практически во всех значимых войнах на континенте -- все это не могло не вызвать подозрения в претензиях на очередную гегемонию, и как следствие, породило мощную коалицию против потенциального гегемона. Но в отличие от коалиций против Австрии, Швеции и Франции, антиромановский союз европейских держав середины XIX века едва не привел к изоляции России от остальной Европы.

Опасения в отношении большого восточного соседа, могучего и «дикого» одновременно, сохранялись и в дальнейшем. Стереотипы европейского восприятия России, по мнению Ливена, созданные «поражительной выносливостью и стойкостью русской пехоты», без сомнения были и у натовских генералов, когда они «в тревоге и испуге разрабатывали оборону мягкой, комфортабельной материалистической цивилизации от предположительно более суровой и примитивной солдатни из СССР» [3; с. 368]. Даже несмотря на очевидные культурные, социально-экономические и психологические перемены, имевшие место в позднем Советском Союзе (и во многом продолжающиеся в современной России), которые демонстрируют, что «солдатня» на поверку значительно менее опасна, чем казалось обеспокоенным европейцам, тенденция видеть в России нависающую опасность сохраняется и среди значительной части современных европейских умов.

Многие российские эксперты продолжают настаивать на том, что за исключением всем известных «особых случаев», в условиях сегодняшнего мира «страна отказалась от традиционной модели территориального расширения» [13; с. 196]. При этом еще на пороге текущего десятилетия даже скептики, сомневавшиеся в реставрации Российской империи, допускали, что «с чисто военной точки зрения» Москва могла бы вернуть себе Белоруссию, Крым и восточные области Украины, присоединить Абхазию и Южную Осетию, аннексировать северо-западную часть Казахстана и, при некоторых условиях, захватить Приднестровье и населенный

лезгинами север Азербайджана [14; с. 46]. Вопрос о том, способна ли Россия вернуться к практикам империи, включая территориальную экспансию, так или иначе сохранялся на протяжении всего периода после крушения СССР. При этом аргументы скептиков, касающиеся ограниченности сил и ресурсов Российской Федерации в условиях явной экономической неэффективности империи как таковой, оставляли послевкусие в виде невольных сомнений -- хотя бы в силу существования весьма завидного американского примера «республики-империи», в которую могла бы трансформироваться более вестернизированная Россия. Вопросом о возможности подобной трансформации Элен Каррер д'Анкокс завершает свою книгу «Евразийская империя».

Обоснованность этих сомнений становится яснее, стоит лишь немного скорректировать оптику, выйдя за рамки традиционных жестких определений. При взгляде на конкретные слова и действия российской стороны, возможно, станет очевидным, что «если традиционная империя исчезла, то же самое не может быть сказано о ее постмодернистской преемнице» [7; р. 102]. Эта версия Российской империи, как описывает ее Бобо Ло, сшита специально для эпохи постмодерна, когда об империи принято говорить разве что в уничижительных интонациях. Строящаяся на непрямом контроле больше, чем на непосредственном руководстве, вместо грубых военных инструментов она предпочитает экономические и культурные средства. Задача подобной «постмодернистской империи» в нескольких словах может быть охарактеризована следующим образом: обеспечение устойчивого и длительного влияния и власти при наличии минимума имеющихся для этого возможностей.

Одним из проявлений «имперского духа» современной России в глазах западных наблюдателей выглядит практически абсолютное убеждение Москвы, что другие страны, особенно ведущие мировые силы, не имеют права вести себя на территории бывшего СССР точно так же, как в любой другой части мира. Основная цель России здесь состоит не столько в развитии тесных связей с бывшими союзными республиками, сколько в удержании контроля над неким особым стратегическим пространством, в котором они существуют и которое непосредственно связано с российским имперским прошлым. Постсоветское пространство, таким образом, рассматривается Кремлем как своеобразный «передний край» обороны собственно внутрисоветской социальной и политической стабильности [7; р. 103]. По мнению Ло, подобный стиль мышления российского руководства стал оформляться с момента

«цветных революций» в Грузии и Украине в 2003--2004 годах, окончательно укрепившись после московских протестов 2011--2012-х и украинской революции 2014-го.

Можно сказать, что зона привилегированных интересов «не более, чем химера» [13; с. 66], и это будет вполне справедливо. Кремль, однако, убежден в обратном. Ситуация усугубляется тем, что после утраты непосредственного контроля над бывшими имперскими территориями России стало крайне трудно конкурировать с Западом за косвенное влияние на них [3; с. 361]. Постмодернистская, или иными словами неформальная империя на самом деле требует больших ресурсов и большего превосходства над конкурентами -- по крайней мере, в сравнении с теми ситуациями, когда «честного соревнования» можно избежать при помощи прямого силового или политического воздействия в рамках общих закрытых границ. Именно подобные реалии, по мнению других исследователей, побуждают сегодняшнюю Россию использовать не столько чисто экономические и культурные средства, сколько как раз свое географическое положение, военную мощь и контроль над нефте- и газопроводами. И это позволяет компенсировать экономическую слабость, отстаивая свои интересы на территории бывшей империи. Отношения с Западом, и в особенности с Европой, однако, сохраняются даже в самых тяжелых ситуациях, хотя и носят селективный характер. Как признают зарубежные исследователи, подобно многим своим предшественникам, стоявшим во главе России на протяжении последних трехсот лет, президент Путин смотрит на Запад одновременно и как на ресурс, и как на угрозу [7; р. 199]. С одной стороны, Европа и Америка воспринимаются как средство для экономического развития и, в условиях глобальной экономики -- дополнительного обогащения российской элиты. С другой стороны, Запад -- это угроза, особенно если смотреть сквозь призму внутрироссийской политической модели и представлений о необходимости нового баланса сил и «разделении сфер влияния» [11; с. 423]. Последняя, принадлежащая Хантингтону идея, похоже, глубоко засела в сознании тех, кто принимает внешнеполитические решения в Москве.

Двойственность в восприятии Россией Запада зеркально отражается в западном восприятии России. Данное обстоятельство может быть объяснено своеобразной «исторической асимметрией» взаимного влияния России и остальной части Европы. На протяжении Нового времени европейцы воспринимали Россию как

постоянно нависающую реакционную силу, потенциально угрожающую не только государственности их стран, но и образу жизни. В свою очередь правящие круги в России «точно так же -- только с поправкой на “опасные” либерализм и радикализм - - воспринимали “европейскую угрозу”» [15; с. 247] в отношении себя. Поэтому «при всем желании сторон их взаимоотношения и рождающийся из этих отношений европейский порядок не могли быть объективно иными, кроме как конфликтными». Применительно к современной ситуации можно констатировать, что в течение последних 25 лет отношения России и Запада «постоянно колебались, пройдя целый ряд кризисов», так что их «нормальное» (бескризисное) состояние, будь оно достигнуто, выглядело бы как «совершенно ненормальное» [7; р. 165]. Источник этой исключительной конфликтности, по всей видимости, коренится в сохраняющейся принципиальной нетождественности России Западу. В оптике, признающей особое значение существующего несовпадения, до тех пор «пока Россия будет отлична от Запада», все традиции внешней политики США и Европы, «вся их психология» будут настоятельно толкать «к поддержанию позиции силы и, при необходимости, использованию ее через различные формы и способы давления» [7; р. 165]. Однако так ли фатально противостояние России и ее западных партнеров? Можно ли его избежать, сохраняя при этом неизбежные различия, по большому счету присущие всем странам мира? Общефилософский ответ на этот вопрос заставляет обратиться к либеральной теории, или конструктивизму. Если же, оставаясь в рамках преимущественно реализма, искать точку конкретного расхождения, то стоило бы вспомнить времена «медового месяца» в отношениях США и России при раннем Ельцине. Збигнев Бжезинский датирует «упущенную возможность» второй половиной 1993 года, когда российский президент подтвердил, что стремление Польши присоединиться к НАТО не противоречит «интересам России» [5; с. 124]. Тогда-то, как считал автор «Великой шахматной доски», Вашингтон должен был предложить Москве «делку, от которой невозможно отказаться», то есть, особые отношения между Россией и НАТО. Вместо этого администрация Клинтона «мучилась еще два года», в течение которых Кремль «сменил пластинку», и когда в 1996 году американцы решили сделать расширение НАТО центральной задачей своей политики, русские «встали в жесткую позицию», по сути впервые четко заявив, что расширение НАТО на восток противоречит их собственным национальным интересам.

### 3. Итоги постсоветского периода

«Для России единственный геостратегический выбор, в результате которого она смогла бы играть реальную роль на международной арене и получить максимальную возможность трансформироваться и модернизировать свое общество, -- это Европа. И не просто какая-нибудь Европа, а трансатлантическая Европа с расширяющимися ЕС и НАТО», -- писал в свое время Бжезинский [5; с. 124]. Трудно представить что-то более идеалистическое и утопичное в наши дни, когда под вопросом не только будущее российско-западных отношений, но и сама устойчивость евроатлантического альянса. Куда реалистичнее звучит, предупреждение, согласно которому с такой Европой России придется иметь дело в том случае, если она действительно захочет избежать опасной геополитической изоляции. Бжезинского принято считать то ли злым демоном, то ли alter ego творцов российской внешней политики. Мало кто, однако, прислушался к его рекомендации, адресованной самой Америке -- к предложению «создать геополитическую среду, которая благоприятствовала бы ассимиляции России в расширяющиеся рамки европейского сотрудничества» [5; с. 232]. В устах Москвы это звучит теперь укором, а глазах Вашингтона и Брюсселя выглядит напрасной тщетой.

«Новый спектр отношений» применительно к России, которого так ждали с обеих сторон 20 лет назад, обернулся очередным витком порочного круга разочарований, взаимных претензий и обид. Между тем, стоит признать, что надежды были разрушены не вчера, а задолго до текущего кризиса. Собственно, об их крушении написал еще Хантингтон, в начале 1990-х предположивший, что в дальнейшем отношения России и Запада «будут варьироваться от холодности до применения насилия», но в большинстве случаев продолжат «балансировать ближе к середине диапазона между двумя крайностями» [11; с. 351], тяготея к «холодному миру» -- определению будущего, данному еще президентом Ельциным. В свою очередь новейшие авторы прогнозируют еще более проблематичные отношения, ожидающие обе стороны в течение ближайших нескольких лет [7; p. 200].

Отчуждение России от европейской и, шире, западной цивилизации парадоксальным образом объясняется последствиями распада СССР. Во-первых, это может быть связано с чисто географическими причинами. Как пишет Элен Каррер д'Анкосс, царская, а затем советская империи были обращены к Западу, к Европе.

Потеря Балтийских государств, Польши и Украины отдалила Россию от Европы, в то время как азиатская ее составляющая оставалась неизменной [15; с. 310]. Это последствие еще предстоит осознать и отрефлексировать интеллектуалам-западникам внутри самой России, учитывая тот практически очевидный для европейских историков факт, что последний парадоксальный вклад полиэтнической и многосоставной Речи Посполитой после ее разделов и окончательного захвата Российской империей состоял в полонизации и вестернизации русской жизни [12; р. 186], особенно в том, что касалось дворянской и городской повседневной культуры.

Во-вторых, социокультурные различия оказались усугублены деградацией и архаизацией интеллектуального пространства постсоветской России. «Когда русские перестали вести себя как марксисты и стали вести себя как русские, разрыв между ними и Западом увеличился, -- замечает столь любимый российскими консерваторами Хантингтон. -- Западный демократ мог вести интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать это с русским православным националистом для него будет невозможно» [11; с. 234]. Путинская эпоха явила остальному миру квинтэссенцию основных догматов российской внешней политики. В большой степени она сформирована под влиянием дипломатии *Realpolitik* XIX столетия в духе канцлера Горчакова, нежели на основе реалий XXI века. [7; р. 200] Несмотря на то, что все «эти архаизмы в плане теории смехотворны» [14; с. 51], они продолжают играть весьма важную роль в выработке и определении внешнеполитического курса сегодняшней России, а это есть подлинная трагедия для остатков европеизированного интеллектуального класса внутри страны.

Отставание сегодняшней России уже давно ощущается не только в отношении Запада. В 1992 году в свою бытность первым послом новой суверенной России в США Владимир Лукин в интервью журналу «Foreign Policy» признавал: «В прошлом Россия видела себя во главе Азии, хотя и позади Европы. Однако затем Азия стала развиваться более быстрыми темпами, ... и мы обнаружили самих себя не столько между “современной Европой” и “отсталой Азией”, сколько занимающими несколько странное промежуточное пространство между двумя “Европами”» [5; с. 118]. На этом фоне можно лишь согласиться с констатацией того, что многополярный мир, к созданию которого Москва призывала в конце 1990-х годов, стал наконец реальностью, но саму Россию трудно назвать «одним из самых влиятельных его полюсов» [13; с. 66].

Критики столь пессимистического взгляда в отношении России могут сослаться на симметрично продолжающийся «закат Европы», в международных делах проявляющийся в утрате абсолютной гегемонии США и их союзников. Это выглядит правдоподобно, хотя те апологеты нисходящей линии развития западной цивилизации, к которым обычно апеллируют наши «почвенники», все-таки оговариваются: процесс «упадка» может быть долгим, а на отдельных этапах возможно даже возвращение к росту. Тем не менее, нельзя не признать, что по крайней мере в демографическом отношении Европа и Россия являются «зрелыми странами с низким уровнем рождаемости и стареющим населением». Скорее всего, у подобных обществ действительно не может найтись «юношеской энергии для экспансионистской политики» [11; с. 424], как и для большой вражды. Возможно, как раз поэтому текущий лейтмотив в отношениях России и Запада может быть определен не обязательно в терминах кризиса и конфликта, но, скорее, -- в понятиях усталости и отчуждения [7; с. 166]. Вот и новая стратегия НАТО в отношении Российской Федерации с некоторых пор называется «политикой адаптации» -- не более того.

Где же кроются причины сложившейся тупиковой ситуации? «Положение государства на карте -- первое, что является определяющим, больше чем его политическая система», -- без обиняков заявляет Р. Каплан [14; с. 49], чьи труды переведены и растиражированы поклонниками геополитики в России. «Конвенциональный взгляд говорит нам, что российские аттитюды и действия в отношении Запада есть выражение российской внутренней политики», -- возражает на это Б. Ло [20; р. 167]. На протяжении истории Российской империи, при определенном внешнем историко-географическом сходстве с американской территориальной экспансией в Западном полушарии, принципиальным и коренным отличием российской политической структуры оставался порядок, осторожно характеризующийся как «нечто иное, чем свобода» [2; р. 283], плюс «двойственное отношение русских к капитализму и частной собственности» [2; р. 284], сохраняющееся и в наши дни вопреки всем предпринятым реформаторским усилиям.

Анализируя возможные варианты будущего внутреннего развития России, Ливен писал, что, возможно, самым худшим для нее представляется «нигерийский сценарий», когда огромный потенциал страны будет растрочен из-за слабости государства, вопиющей коррупции элиты и отсутствия у населения чувства гражданской ответственности [3; с. 630]. Такая Россия «соединит в себе худшие черты

советской бюрократической морали с самыми отвратительными качествами мирового капитализма», а ее общественное мнение будет настроено против Запада. Имея в своем арсенале ядерное оружие, она станет угрозой всему миру, предупреждал британский историк [3; с. 630].

Отчасти это рифмуется с поистине пророческими словами Николая Косолапова, опубликованными в 1995 году на фоне тогдашней эйфории в отношении проводившихся в стране радикальных реформ: «И здесь перед Россией встает грозная опасность. Нет ортодоксов ревностнее, чем новообращенные. Ухватившись сейчас за либеральную модель -- притом в ее самом механистическом варианте, и сделав это в период, когда данная модель приходит к исчерпанию своих исторических резервов и возможностей, когда формула общества XXI века явно должна будет найти какое-то совмещение европейского и неевропейского цивилизационного опыта, -- Россия рискует превратиться в начале будущего столетия в центр социальной и политической реакции в мире, что могло бы снова противопоставить ее Западу и другим регионам и культурам» [15; с. 270]. Остается лишь констатировать практически полную реализацию данного прогноза 20 лет спустя.

Для выхода из «порочной спирали» необходимо не только усвоить едва ли не самую важную европейскую ценность, состоящую в отношении к государству «не как к святыне, а как к более или менее работоспособной организации чиновников и выборных лиц, нанятых на службу обществу и каждому гражданину» [27; с. 49]. Чтобы остановить или, по крайней мере, сдержать продолжающийся и выглядящий вечным негативный сценарий во внешней политике, может потребоваться большой шок или серия шоков, связанных, например, с чрезвычайными обстоятельствами на российско-китайской границе, или с еще более масштабной вспышкой насилия на Ближнем Востоке, охватывающей весь регион [7; р. 200]. Впрочем, любые международные катаклизмы совершенно точно не подействуют без главного.

Задачей первостепенной важности для России и ее отношений с «трансатлантической Европой» в союзе с США Бжезинский называл модернизацию собственного общества вместо тщетных попыток вернуть былой статус мировой державы. Путь к этому вне всякого сомнения лежит через настойчивое внутреннее развитие и переосмысление российским интеллектуальным классом места своей страны на карте мира, исходя из ценностей и идей современности, а не героики прошлого. «Национальная редефиниция России является не актом капитуляции, а



актом освобождения» [5; с. 145]. Эти слова отца-основателя новейшей российской геополитики, пожалуй, могут служить лучшим его завещанием для всех нас.

## **4. Россия на международной арене: опыт столетия**

Оценка потенциала силы (power) России рубежа XX-XXI столетий, как представляется, требует глубокого исторического экскурса с анализом места и роли страны на международной арене на протяжении всего Нового времени. Россия относится к числу старых и богатых стран мира с имперским прошлым, ее идентичность столетиями строилась в диалоге с европейской цивилизацией, ее сила и значение на международной арене не подлежат сомнению в глазах ведущих сил международной политики. Однако вопрос о силе России совсем не прост, особенно если посмотреть на историю этого вопроса.

Окончание холодной войны совпало с крушением советской идеологии и советской идентичности. Последствием этого стал не только распад СССР, но и продолжительный ценностный кризис, когда России как правопреемнице Советского Союза долгое время было крайне трудно определиться со своим местом и ролью в мировой политике. Прежний внешнеполитический курс строился на миссии, связанной с построением социализма и коммунизма. Однако эта миссия оказалась утраченной, на месте прежней идеологической конструкции образовалась пустота. Это особенно ясно прослеживается в связи с оценкой советского проекта и его роли на международной арене. Октябрьская революция, на протяжении более 70 лет советской власти, отмечавшаяся как отправная точка новейшей истории страны и мира, по итогам публикаций и обсуждений прошедшей четверти века выглядит не иначе как историческая ошибка, «смута», трагический поворот истории, ничего России по большому счету не давший, кроме гражданской войны, да к тому же надолго лишивший возможностей европейского продуктового изобилия. Последнее едва ли не главное, что наряду с державной гордостью примиряет россиян с их современной действительностью. Пока холодильник держится, и россияне сыты, как никогда в предшествующем столетии, они будут верить и телевизору. Меж тем в телевизоре, как и в головах тех, кто отвечает за его контент, осталась, пожалуй, единственная сфера, где достижения некогда великого октября признаются по-прежнему почти безоговорочно. Если и было что-то путное в пролетарской революции, то достались оно не России вовсе, а за границе, в первую очередь столь нелюбимой теперь нашей пропагандой Европе и Америке. Ведь это якобы благодаря Ленину и большевикам Запад сам избежал социальных потрясений и создал

социальное государство, реальное, а не как в бывшем СССР. Так ли, однако, это на самом деле, и не в пору ли Москве предъявлять счет Европе за спасение от коммунизма, наряду с более древним, но не менее известным «от Батыя спасли, никакой благодарности»?

Начнем с тезиса о счастливом избегании потрясений, дескать, никто так не страдал в XX веке, как русские, остальные же только благоразумно учились на нашем примере. Тут еще нередко приводится крылатая фраза, что социализм можно попробовать построить в стране, которую «не жалко» -- вот и «выбрали» де Россию. Пожалуй, если смотреть глазами русского откуда-нибудь из 1920-х годов, то так и есть. «На Западе все спокойно», как писал В. Маяковский, явно оплакивая неудавшуюся мировую революцию. Да и правый монархист И. Солоневич, сбежав из советского лагеря в Карелии за ближайшую границу к «белофинам», признавался в сердцах, что не пил кофе со сдобой со времен победы большевиков. Но так ли на самом деле все спокойно было на Западе, и принесла ли это спокойствие русская революция? Последнее точно вряд ли: большевики изначально делали революцию не в России и не для России, они мечтали о мировом пролетарском восстании, где отсталая крестьянская Русь, «самое слабое звено в цепи капитализма», нужна была лишь в качестве запала. Красная революция в Германии, однако, провалилась, как и не удался поход Тухачевского на Варшаву. Ответом же на испугавшую многих большевистскую угрозу стало вовсе не социальное государство, для которого в разоренной мировой войной Европе не было особых возможностей, а ультранационализм и правый популизм. Итальянский фашизм уже в 1920-е, как и германский нацизм 30-х стали первой и основной реакцией на политическую активность агентуры Коминтерна. При этом Гитлер и Муссолини, как и развязанная ими Вторая мировая война, непосредственно для европейцев оказались куда большим испытанием и потрясением, чем Ленин и Сталин. Нацистской Германией и режимами-сателлитами на известном этапе была охвачена почти вся континентальная Европа за исключением Швейцарии и Швеции. Это на самом деле величайшее потрясение прошлого столетия Европа до сих пор переживает как наиболее крупную трагедию в своей истории. Англия и Североамериканские Штаты тогда устояли, несмотря на серьезный вызов правых радикалов внутри собственных политических систем. Действительно, это получилось не в последнюю очередь благодаря особому вниманию рабочему классу и переходу к политике welfare state. После Второй

мировой войны эта политика, начиная с плана Маршалла, была распространена на освобожденную от нацистов Западную Европу. К тому моменту коммунизм стал действительно основным вызовом для свободного мира, но борьба с ним велась вовсе не обязательно демократическими и социально-либеральными методами. Достаточно вспомнить, что фашистские и полуфашистские режимы в отдельных странах Европы – в Испании, Португалии и Греции – существовали вплоть до 70-х годов прошлого века. Да и режим А. Пиночета, пришедший к власти при поддержке из Вашингтона, испугавшегося советизации Чили по кубинскому образцу, мягко говоря, не был ни демократическим, ни социально ориентированным. Между прочим, последней реакцией на советскую угрозу, уже на исходе Холодной войны стал неоконсерватизм Рейгана и Тэтчер, фактически провозгласивший сворачивание социального государства, сделавший ставку на «традиционные ценности» и религиозный ренессанс, за что сегодня расплачиваются не только в США и Европе, но куда в большей мере в России, где после крушения советского эксперимента, главным героем и примером для подражания стал тот самый Пиночет.

Вместе с тем, возвращаясь к тем временам, когда в октябре 1917-го левые радикалы во главе с большевиками взяли власть в Петрограде и по всей России, не стоит забывать, что не последним препятствием на пути «мировой революции» в европейских странах стала более развитая, чем в России политическая и партийная структура. Большинство крупных европейских держав имели достаточно развитую систему парламентской демократии. Более того, по крайней мере во Франции, Германии и Австро-Венгрии уже существовало легальное и достаточно мощное движение умеренных социалистов и социал-демократов, которые не только имели влиятельные депутатские фракции, но могли получать места в правительстве. Социализм не был для тогдашней Европы чем-то маргинальным и запретным, более того, в глазах масс именно он играл роль мирной и эволюционной альтернативы нетерпению и фанатизму, как ультралевых, так и ультраправых. Эту роль долгая социал-демократическая традиция Европы продолжает играть до сих пор, противостоя очередную волну популизма и в наши дни. Да и в Соединенных Штатах наиболее прогрессивная часть политического спектра, способная предложить реальную альтернативу лживому и дикому трампизму, все больше склоняется к идее «либерализма с человеческим лицом», весьма близкой европейскому демократическому социализму.

Что же касается современной России, то как и большинство стран, по классификации Всемирного банка, «с доходами выше среднего», но не более того, т.е. иными словами развивающихся стран Третьего мира, она не может себе позволить ни welfare state европейского уровня, ни сколько-нибудь влиятельного социал-демократического движения. Идея социальной справедливости в России, переболев детской болезнью крайней левизны, тихо умерла, уступив место цинизму нуворишей и мракобесию религиозных неофитов. От старых идеологических клише осталось разве что только представление о «всемирно историческом значении Великой Октябрьской Социалистической Революции», переродившееся в сетование, что опять мы научили весь мир тому, как не надо.

Говоря о Русской революции, нельзя не учитывать существовавшего на момент ее совершения международного политического контекста, европейского и формировавшегося глобального. Во-первых, эта революция, безусловно, оказалась следствием не только внутренних, но и внешних факторов, воздействовавших на военно-феодальную структуру Российской империи. Кризис и крах царской России может быть рассмотрен в ряду аналогичных процессов, одновременно затронувших все континентальные империи европейской периферии. Во-вторых, события 1917 года обычно рассматриваются в контексте их «всемирно-исторического значения», что вполне справедливо. Русская революция стала одним из важнейших событий международной политики начала XX века. Наряду с Первой мировой войной и вхождением США в число ведущих держав, она определила формат и характер всей системы международных отношений на многие последующие десятилетия.

Свою концепцию «короткого XX века» в мировой политике Э. Хобсбаум увязывал с «борьбой крайностей», одной из которых был порожденный октябрем 1917-го советский проект. [4] Вместе с тем остается вопросом, в какой степени русская версия марксизма и коммунизма была реальной альтернативой мировой системе капитализма, успешно эволюционировавшей в борьбе с тоталитарными структурами прошлого столетия.

Каково было международное положение империи Романовых накануне и собственно в момент революции? Современный официоз развивает тезис об «украденной победе», когда вследствие «заговора» и происков «внутренних врагов» (на службе у врага внешнего) Россия потеряла якобы шедшую ей в руки победу в большой европейской войне, как и часть своих имперских территорий. Однако, если

выйти из упрощающей оптики конспирологии и посмотреть на происходившее с точки зрения истории как процесса эволюции систем общественных отношений, представленная картина оказывается значительно сложнее, куда менее линейной и однозначной.

С точки зрения расстановки сил в международной политике ситуация в самом кратком виде может быть описана следующим образом. «Большая игра», представлявшая собой соперничество Российской и Британской империй в Центральной Азии, в начале XX века завершилась присоединением России к англо-французскому военному союзу. «Антанта», участницей которой стала империя Романовых в последние годы своего существования, может быть описана как объединение держав, выступавших за сохранение статус-кво в произошедшем на тот момент колониальном разделе мира. Ревизионисты, в первую очередь Германия, настаивали на переделе, в то время как Россия фактически смирилась с положением европейской периферии и младшего партнера атлантических союзников, существующего за счет внешних инвестиций и займов. В союзе с Россией «Антанта» представляла силу, потенциально более мощную, чем «Четвертый союз» во главе с кайзеровской Германией. Однако злейшая ирония истории состояла в том, что даже присоединившись к коалиции будущих победителей, Российская империя свою войну проиграла. В этом плане ее постигла участь тех континентальных держав, с которыми она воевала. Австро-Венгрия и Османская Порта распались, не оставив следа на карте мира. Германский «Второй рейх», понеся болезненные и унижительные потери, оказался неспособным реализовать собственную гегемонистскую доктрину «срединной Европы». Крушение Петербургской империи Романовых, произошедшее на фоне Первой мировой войны, легко встраивается в этот ряд. Если сравнить внутренние структуры, то российская монархия была куда ближе к Константинополю, чем к Берлину или Вене. Обеспечив роль пушечного мяса в 1915 и 1916 годах, русские вылетели из коалиции из-за слабости и неразвитости собственного государства. Политическая система, далекая от принципов открытости, равенства и состязательности, лишенная сильных гражданских институтов, насильно прикованная к ложу одряхлевшей и неспособной к эволюционным переменам абсолютистской монархической модели, дала сбой в самый неподходящий для этого момент. И это обернулось не просто военной неудачей, но коллапсом и катастрофой

всей структуры, сформированной и функционировавшей на протяжении двух предшествующих столетий.

«Русская трагедия», как впрочем и «победа» (сегодня и то, и другое, разумеется, носит во многом мифологический характер) лучше всего видны именно в международно-политическом контексте. Вполне логично, следовательно, напомнить, чем была Российская империя в системе международных отношений Нового времени.

Используя подход Б. Тешке [16], Российскую империю XVIII – начала XX столетий можно описать как классическую абсолютистскую монархию вестфальского типа. В этом плане России оказалась, куда более устойчивой, если не сказать косной и ригидной политической структурой, нежели Франция и Швеция, под воздействием и контролем которых Вестфальская система, собственно, и создавалась с момента заключения одноименного мира в середине XVII века.

Внешнеполитическая ориентация европейского абсолютистского государства Нового времени определялась двумя ключевыми факторами: во-первых, протекционизмом и связанной с ним борьбой за привилегированный доступ на региональные рынки, во-вторых, геополитическим накоплением, диктуемым феодальным по своей сути характером государства, питавшегося рентой с контролируемых земель. Рента, правда, обеспечивалась не самими землями, а проживавшими на них массами податного населения, которые не только содержали военно-феодальную вертикаль, но служили источником массовых человеческих ресурсов для регулярной армии, необходимой в войнах за все новые земли и торговые преференции, к которым стремились европейские монархи. Однако уже Утрехтский мир 1714 года показал Европе совсем иную, стратегически куда более успешную альтернативу. При разделе «испанского наследства» Англия, в отличие от старых континентальных империй, ограничилась крошечными, но имеющими важное значение для мореплавания кусками суши, предпочтя земле с тягловым населением, свободный доступ на трансграничные рынки, например, на рынок работорговли в испанских колониях. Английская политика Нового времени, обусловленная более развитой и сложной структурой, чем деспотии «старого порядка», первой предложила принципиально иную модель поведения на международной арене. Не рентные аппетиты военно-бюрократической иерархии, но рост финансового капитала и интересы свободного доступа на международные рынки – вот, что лежало в основе новой, неуклонно развивавшейся системы. Принцип «чья земля, того и вера»,

предполагавший полную автономию государства в собственных границах, вытеснялся несколько иными правилами игры, где национальные политические структуры превращались в сосуды, по которым система, в современной критической теории часто именуемая «глобальным капитализмом», распространяла свое господство все на новые страны и континенты. Происходившее таким образом наступление эры капитализма, в первую очередь в Европе и сопредельных регионах, вызывало необходимость реакции со стороны отдельных государств и формирующихся наций на вызов глобального развития. Ответ, как экономический, так и политический, предполагал либо выбор прагматичной внутренней структурной трансформации, либо попытки отчаянного сопротивления в виде усиления полицейских мер, автаркии и/или поиска «особого пути».

Будучи государством с максимально возможной степенью абсолютизма и, как следствие, «лучшим учеником» Вестфальской системы, на поле европейской политики Нового времени Россия оказалась в двойственном положении. С одной стороны, долгое время она демонстрировала удивительную устойчивость в качестве оплота «старого порядка» Европы. С другой стороны, накапливающийся разрыв с новым европейским мейнстримом, связанным с переходом от абсолютистской модели к либеральным демократиям, в критериях новой, неуклонно развивавшейся системы демонстрировал все большую отсталость и, как следствие, дефицит могущества Российской империи.

Можно сказать, что в семье европейских государств Нового времени Россия была самой молодой и сильной среди стареющих и слабеющих. Швеция проиграла свое геополитическое могущество в Европе спустя чуть более половины столетия после Вестфальского мира. Франция неуклонно утрачивала свою гегемонию на протяжении XVIII века по мере деградации собственного абсолютизма и приближения к революции 1789 года. Российская империя не просто в исторически кратчайшие сроки и практически беспрепятственно захватила континентальную периферию Евразии, но сумела создать ощущение невиданного успеха и величия, как у себя самой, так и у соседей. Между тем историческая западня, в которой оказалась Россия, проявлялась по мере движения от отечественной войны 1812 года к войне 1914-го, которую первоначально также называли «отечественной». После Венского конгресса 1815 г. Россия оказалась едва ли не главным лидером и гарантом «старого порядка», исторически на весьма короткое время реставрированного на европейском



континенте. Предел этому порядку довольно скоро положила новая волна революций, установивших конституционный порядок, как и отменивших остатки феодальных привилегий практически повсеместно в Европе, по сути за исключением лишь владений Российской и Османской империй. При этом политика накопления русским царем земель в Европе была приостановлена, надо заметить, не без участия со стороны Англии, в середине XIX века сумевшей создать общеевропейскую коалицию, сдерживающую аппетиты России в отношении османских владений.

По итогам XIX столетия Российская империя столкнулась с геополитической напряженностью по трем основным линиям. Ее амбиции в качестве покровительницы православных народов Балкан вызвали острые противоречия не только с Портой и дуалистической монархией Австро-Венгрии, но и с Германией, осуществлявшей активное экономическое и технологическое проникновение в данном регионе. Наступление в Центральной Азии вызывало опасения Англии, впрочем, итоги «Большой игры» показали границы возможностей обеих сторон, где Афганистан и Персия стали буферной зоной между британской Индией и подчиненными русским Хивой и Бухарой. Наконец, на Дальнем Востоке Россия столкнулась с японской экспансией в этом регионе.

Вместе с тем есть основания полагать, что на окончательный выбор России в пользу атлантических партнеров накануне Первой мировой войны повлияли не только и не столько геополитические факторы. Сама логика системы международных отношений, которая складывалась в условиях развития глобального капитализма, где Россия занимала место европейской периферии, подталкивала империю Романовых к выбору, стоившему ей существования. Таможенные войны с Германией из-за хлебной торговли, как и потребность в займах и концессиях, предоставляемых в первую очередь Францией и Англией, вели Россию к «Антанте» куда жестче, чем мечты самой крупной континентальной империи мира о Константинополе, турецких проливах и прочих воображаемых «справедливых» территориальных притязаниях. Во все более обостряющейся борьбе между европейскими национальными государствами монархия Романовых не могла предложить практически ничего в плане конкурентоспособной торговли с колониями. Тем более речи не шло о масштабах инвестирования, сопоставимых с возможностями стран «капиталистического ядра». В этом плане вполне релевантна критика В.И. Лениным русского империализма как наиболее слабого, с большим отрывом отстающего от западных держав по ключевым

показателям силы на международной арене. Собственная русская торговля, промышленность и финансовая система, пусть и в меньшей степени, чем османская, зависели от внешних партнеров и источников. Не финансовый капитал, ни технологии и ни социальные идеи, способные увлечь миллионы – главное конкурентное преимущество, которое готова была предложить царская Россия на мировой арене состояло в миллионах поставленного под штыки сельского населения и огромные сырьевые ресурсы. И то, и другое было безусловно полезно растущей мировой системе капитализма – в качестве расходного материала, обеспечивающего дальнейшее развитие и глобальное могущество.

Так, в международном разделении ролей накануне большой европейской бойни начала XX столетия Россия, безрассудно пренебрегая интересами собственного внутреннего развития, стала одним из «продавцов» войны, столь же губительной для нее самой, сколь и неизбежной. Надо отдать должное, русский народ при этом воевать не хотел, справедливо не видя для себя никаких резонов в развернувшейся смертельной схватке без рациональных оснований. Русская революция стала ответом на мировую войну, а та коммунистическая «антисистема», которую она породила, предлагала альтернативную концепцию мира и развития, чертовски привлекательную не только для самих русских, но для многих других стран и народов периферии мировой системы капитализма.

Первая мировая война к 1917 году поставила старую Россию в тяжелую тупиковую ситуацию. Продолжение военных действий грозило внутренней катастрофой, а выход из войны означал потерю статуса участника «концерта великих держав». Ограниченность повестки, как царского, так и временного правительства яснее всего видна именно в случае с их внешнеполитическим курсом. Соображения престижа державы в глазах петербургской элиты перевесили не только насущные чаяния широких масс населения, но и оказались сильнее собственного инстинкта самосохранения. Февральские революционные события смели 300-летнюю монархию Романовых, но пришедшие на их волне либеральные и умеренно-социалистические силы не смогли и не успели решить ни одну из насущных задач, стоявших перед страной в политической, экономической и социальной областях. Вместе с тем на короткой дистанции от февраля к октябрю вопрос о немедленном мире «без аннексий и контрибуций» не просто вошел в российскую политическую повестку, но стал едва ли не главным требованием восставших масс – тем условием, которое необходимо

было выполнить здесь и сейчас, исходя из жизненной необходимости и в качестве индикатора реальных перемен.

Историческая роль Русской революции, особенно если смотреть на нее с позиций сегодняшнего дня, все чаще представляется исключительно в негативных тонах. Однако вне всякого сомнения ее заслуга заключалась в том, что, пожалуй, впервые в истории состояние мира между странами и народами оказалось признанным в качестве общего блага, было артикулировано как демократическое требование на национальном уровне и легло в основу системы ценностей нового, рожденного революцией государства. Мир как главная цель и ценность политики – вот едва ли не важнейший урок 1917 года в России. Ловушка победившего в октябре большевизма состояла, однако, в том, что мир как надежда и мольба российских крестьянских масс не мог быть достигнут в свете тех стратегических целей, которые были провозглашены новой властью. Вождем вечный мир, не в кантланском, а в ленинском понимании, мог быть установлен только в результате уничтожения капитализма как мировой системы, иначе говоря, на руинах той цивилизации, которая к началу XX века уже достигла глобальных масштабов, и которой поспешили бросить вызов русские радикальные марксисты. Достижение коммунистического мира, таким образом, предполагало большую войну. В полном соответствии с реалистической рамкой Гоббса эта новая ожесточенная война с внешним миром, на которую фактически обрекалась Россия, предполагала не просто выстраивание нового государства под водительством партии-суверена, но и всех сопутствующих ему особых цивилизационных стандартов и институтов. Левиафан диктатуры пролетариата, придя на смену царской империи и заняв свое особое место в мире, окончательно превратил русского мужика из землепашца в человека с ружьем, воина и стража глобальной утопии, наделенного национальной миссией сражаться и сокрушать врагов коммунизма во имя будущего интернационального мира.

В международном контексте Русская революция выглядит одной из наиболее успешных и впечатляющих попыток ответа на вызов глобального капитализма для стран мировой периферии. Отталкиваясь от яростного неприятия и отрицания, этот ответ в конечном итоге привел не к сокрушению господствующей мировой системы, но к периферийному встраиванию в нее на условиях особой стороны, сохраняющей изрядную долю внутренней автономии. Как следствие, это предполагало жесткие внутренние ограничения для проникновения финансового капитала, свободной

торговли, а также всех тех стандартов, которые были выработаны цивилизацией капитализма, включая свободы и политические институты западной либеральной демократии.

Россия столкнулась с наступлением капиталистической эры примерно тогда же, когда и остальные европейские государства. Однако ее относительная географическая удаленность от ядра развития капитализма, как и наличие немалых внутренних ресурсов долгое время позволяли удерживать сложившуюся военно-феодальную структуру. При этом использовался самый простой охранительный ответ. На европейские революции русская монархия отвечала «закручиванием гаек» внутри страны. Периодически властями инициировались «реформы сверху», но точно также периодически, как только становилось ясно, что реформирование невозможно без преодоления существующей внутренней структуры, происходило ее очередное «подмораживание». Так, на протяжении более чем столетия, предшествовавшего большой революции, русские охранители в конечном итоге брали верх над системными либералами-реформаторами.

Меж тем в недрах периферийной империи, на уровне общества, по меньшей мере с А.И. Герцена вызревал другой ответ, сочетавший идею «особого пути» и идеи социализма. Большевизм, как оказалось, стал конечной точкой сборки этого альтернативного ответа, выработанного всей предшествовавшей традицией освободительного движения в России. «Особый путь» русского коммунизма по форме своей был строго универсалистским. Но одновременно он давал ответы на национальном уровне, приемлемые для восприятия каждой отдельной страной и нацией, столкнувшейся с проблемой периферийного, зависящего от мировых лидеров положения, нуждающейся в отстаивании суверенитета и собственной линии интересов на международной арене.

Уникальное сочетание национальной и универсалистской заряженности, тем не менее, с самого начала не позволило Русской революции выйти за пределы основной территории бывшей Российской империи. Большевистский проект мировой революции провалился в начале 1920-х, вслед за крахом польского похода Красной армии и окончательным «успокоением» левореволюционного движения в Германии. Возможность или по крайней мере сильная иллюзия альтернативы сохранилась еще на несколько последующих десятилетий. Меж тем ирония и трагизм утопии «социализма в отдельно взятой стране» состояли в том, что периферия, скорее всего,

в принципе неспособна предложить действительно устойчивую и жизнеспособную альтернативу мировому мейнстриму.

Второе дыхание рожденный революцией 1917-го советский проект имел шансы обрести в 50-60-е годы XX века, когда поиски «социализма с человеческим лицом» в СССР и странах «народной демократии» сопровождалась подчас довольно смелыми реформаторскими инициативами и экспериментами. Опыт русского коммунизма выглядел привлекательным для опиравшихся на широкие массы освободительных движений в странах Третьего мира, особенно в контексте происходившего после Второй мировой войны крушения мировой колониальной системы и наметившегося заката европоцентризма. Однако сам Советский Союз к этому моменту больше напоминал реставрированную Российскую империю, нежели радикальный модернистский проект. Советская бюрократия, как ранее бюрократия царская, переменам предпочитала примитивное охранительство, что не могло не сказаться на снижении темпов развития и окончательной потере каких-либо конкурентных преимуществ. К концу 70-х годов несостоятельность мировой системы социализма во главе СССР стала очевидным фактом.

Наблюдаемое в последние два десятилетия XX века стремительное бегство от советской версии социализма, как от и любого другого наследия Русской революции, в контексте развития мировой системы может быть объяснено главным образом стремлением преодолеть состояние периферии, изначально присущее странам, соблазненным на советский проект. Через семь десятилетий после Русской революции советская модель стала окончательно ассоциироваться с периферийностью как своего рода проклятием. Не удивительно, что довольно скоро попытки построения социализма «с национальной спецификой» на фоне ослабления давления из Москвы привели к повсеместному возникновению проектов «национального возрождения», за счет которых страны Восточной Европы и других регионов стремились оказаться в «большом мире».

Что же касается России, то после крушения советского проекта она оказалась неспособной ни встроиться на приемлемых для себя условиях в мировой мейнстрим глобального капитализма, ни выработать новую ему альтернативу. После того, как холодная война была завершена, никто из основных игроков мировой политики не попробовал выработать новую долгосрочную стратегию. Все предпочли движение

по инерции, и это не могло не завести в тупик нового противостояния по старым лекалам.

Универсалистский потенциал Русской революции при этом оказался полностью потерян, а поиски национального ответа уперлись в старый имперско-охранительский синдром. Возможности «торговать войной» сохраняются, но ресурсы, прежде всего человеческие, настолько сильно истрачены за XX век, для России короткий и долгий одновременно, что в современном глобальном масштабе, смотрятся исчезающе малой величиной. Определенная глобальная роль, конечно, остается за Россией и, скорее всего, она сохранится в обозримом будущем. Но скорее в силу исторической инерции, нежели нового импульса в собственном внутреннем развитии.

Вместе с тем, чрезмерное ослабление российского государства и тем более его внезапный крах по аналогии с СССР противоречит интересам общей стабильности в мире и помимо всех прочих рисков может дополнительно способствовать еще большему возвышению Китая – главной растущей силы современного мира. Понимание этой перспективы, довольно прозрачной в рамках классической концепции баланса сил, может стимулировать руководство США и их союзников к поддержанию статус-кво на севере Евразии и продолжения по меньшей мере секторального партнерства с Москвой. Только это действительно сможет обеспечить России большую устойчивость и предсказуемость в качестве законсервированной сверхдержавы.

Неотложные задачи развития вместе с тем известны и не утратили своей актуальности за последние сто лет, прошедших с 1917 года: трансформация внутренней структуры в современное демократическое государство, преодоление имперского наследия, отказ от войны как средства достижения целей на мировой арене. Но главное, возвращение универсального и вневременного наследия Русской революции, заключающегося в признании мира, свободы и равенства стран и народов как высшей ценности и цели международной политики.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2015.
- 2 Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- 3 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007.
- 4 Hobsbaum E. Age of Extremes. The Short Twentieth Century. 1914-1991. London: Abacus, 1997.
- 5 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Американское превосходство и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010.
- 6 Armstrong D. Revolution and World Order: The Revolutionary State in International Society. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- 7 Lo B. Russia and the New World Disorder. London: Chatham House; Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2015. P. 199--200.
- 8 Гоббс Т. Левиафан. М.: РИПОЛ классик, 2016.
- 9 Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. London: Macmillan, 1995.
- 10 Кант И. К вечному миру // Кант. И. Собр. соч. М.: Мысль, 1994. Т. 7.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2017.
- 11 Watson A. The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis. London: Routledge, 1992.
- 12 Тренин Д. Post-imperium: евразийская история. М.: Московский центр Карнеги, 2012.
- 13 Арбатов А. Особый имперский путь России // 20 лет без Берлинской стены: прорыв к свободе / Под ред. Н. Бубновой. М.: Московский центр Карнеги; РОСПЭН, 2011.
- 14 Россия и будущее европейское устройство. / Косолапов Н.А., Стержнева М.В., Олещук Ю.Ф. и др. М.: Наука, 1995.
- 15 Каррер д'Анкосс Э. Евразийская империя: История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М.: РОСПЭН, 2007.

16 Тешке Б. Миф о 1648 годе. Класс, геополитика и создание современных международных отношений. М.: Высшая школа экономики, 2011.